

Раздумья

Валентин Курбатов

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ?

Вот когда начинаешь чувствовать настоящую усталость — когда вдруг видишь, что ты повторяешь однажды и уже давно сказанное, как новость. Наткнёшься нечаянно на старую свою статью и покраснеешь: э-э, да ты, брат, буксуешь. Оглянешься, как заплутавший в лесу, и видишь, что ты это место уже проходил, а значит, и не идёшь, а топчешься, хотя внешне будто шёл всё вперёд и не остановился ни разу.

Так я смутился, увидев в журнале «Москва» свою двадцатилетнюю возрастом заметку «От слова до Слова», где пытался кого-то убедить (кого мы убеждаем, кроме себя?), что мир может поправиться, если просто вспомнит настоящее значение каждого слова и как впервые скажет: «Любовь, надежда, добро, Родина». Именно увидит существо слова, его сердце и почувствует грозную подлинность стоящего за ним значения.

И вот, готовясь к очередному заседанию Общественной палаты по

охране памятников, опять застал себя на той же мысли — что первое всех нуждается в сохранении слово. Если с археологической бережностью отряхнуть с него пыль веков и человеческих заблуждений, нарочитых спекуляций и прямых попыток уничтожения, поднять его к свету, то легко будет увидеть, что мы давно не дети своей памяти, своей веры и своей Родины. Ненавидимая Константином Леонтьевым «пошлость прогресса» незаметно подмяла даже и тех, кто чувствовал опасность этой пошлости лучше других и сопротивлялся дольше. Приехал в палату-то поговорить об этом, глянул в приготовленные к обсуждению бумаги и зашатался: «Девелоперы должны отдавать преференции инвестициям в кластеры». Вот! А ты, дурак, со словом своим!

Бумаги-то не враг готовил, а тонкие специалисты и защитники. Значит, они, бедные, уже стесняются перед другими специалистами человеческого языка и затягивают сами

себя в дурную воронку заёмной терминологии, которая делает мир на одно лицо. Немудрено, что после этого нежнейшие, почти лепные, молитвой и любовью ставленные псковские храмы реставрируются с механической расторопностью и заселяются фанерными, а то и вовсе пластиковыми софринскими иконостасами, так что это уж не молитва, а «духовная инвестиция», и не Творцу, а «девелоперу».

Слово безнаказанно предаваемо не бывает. Мы и посреди храма и Родины можем остаться без веры и дома, стыдясь своего «бедного» слова перед щегольской чужезычной уравнительностью. Ведь словарь — тот же самый инструмент и материал, и с чужим словом сами собой являются вместо родного дерева, камня и духа пластик, химия и инструкция по применению.

Конечно, ничуть не лучше и наше выветрившееся патриотическое риторство, когда все слова вроде и верны и стары, да уж давно лишены живой боли и держатся как ходовая валюта в соперничестве «Единой России» со «Справедливой Россией» и Союза писателей России с Союзом российских писателей. Как когда-то покаянно писал тот же Леонтьев о своей юности: «Надо было мыслить, а я только думал...» Вот и мы — «думаем». А мыслить-то вот-вот уж и разучимся. А между тем медленно, но необратимо теряем русское своё лицо. А с ним жи-

вое, цветущее сложностью и разнообразием православие, которое, коли почитать, слава Богу, достаточные теперь труды русских религиозных просветителей и миссионеров, было куда как отлично живым дыханием в Сибири и на Урале, в Пскове и Иркутске, что и теперь ещё видно по старым иконам, уберёгшимся по музеям и старым крепким домам. А нынче мы по всей России пишем иконы чаще с одних и тех же образцов, так что храмы перестают быть наособицу, а с ними усредняется и молитва, которая очень зависит от образа, от его света и духа. Тут в молитве умозрение прихожанина сталкивается с умозрением иконописца, и они или углубляют друг друга, или молча противоречат.

Вот и слово, загнанное нами до механичности, попавшее в колею, всё чаще крутится на месте и никуда не ведёт. И крутится вроде так, что только пыль летит да спицы мелькают, да крутится-то в воздухе, не касаясь дороги. Простите, что я всё с Леонтьевым, но он, мне кажется, сказал главное, что и тогда не очень услышали, а теперь уж и вовсе позабыли, — что слово не безлично, что оно всегда лицо, которое его говорит, что оно всегда или исповедь, или проповедь, а не информация. Кто это и когда сказал, что мы подменили мудрость знанием, чтобы со временем и знание унижить ролью простой информации.

РАЗДУМЬЯ

А у информации в отличие от мудрости и знания как раз лица-то и нет. И мы вон информацией-то забили газеты и журналы, каналы радио и телевидения до крыши, а себя-то как раз и потеряли, и мир-то наш во внешности тоньше, да душа «толще».

Чем долее живёшь, тем больше узнаёшь правду оптинского старца Амвросия, что «где просто, там ангелов со сто». В этой «простоте» и сложнейшие вопросы государственности и человеческого устройства решаются сами собой», потому что они решаются словом, которое помнит, что оно было у Бога и был Бог. Вот Бог в слове дело-то и управляет, как это ни покажется простодушно нынешним девелоперам.

Уж и не знаешь, как докричаться до высоких кабинетов, а они при демократии всё выше от земли — задерёшь голову, шапка падает, а им тебя внизу и не видно. Они тебя давно заменили диаграммами и социологическими опросами, удобным числительным. А Россия тем всегда и отличалась от других народов и других культур, что она страна «личная». Эка, скажут, куда закрутил! У нас личность-то никогда ни во что не ставилась! Да только отдельная-то личность и лицо народа при близости слов — вещи разные. И даже, странно сказать, как будто обратно пропорциональные. И как через меру о «личности» и «правах человека» начинаешь пе-

щись, то, глядишь, скоро станешь «населением», а народ, который больше на обязанности держится, и пойдёт сходить на нет.

Почему я и твержу про Слово, про различие оттенков, в которых и дышит настоящая полнота смыслов. Мы уж и Год русского языка назначали, а слушать лучше не стали и крепче не сделались, потому что ему года-то мало, ему вся жизнь нужна. И усталость-то усталостью, а взялся жить — живи и слова не оставляй. Ведь и молимся мы каждый день одними словами, а они не оскудевают силой. Значит, и тут перед Словом надо встать, как перед Образом. И оно отзовётся.

В присутствии другого

«...Мир — это текст, и он говорит с нами смиренно и радостно об отсутствии себя самого и в то же время о вечном присутствии кого-то другого, а именно своего Создателя».

Это сказал Поль Клодель, и мне легко убедиться в его правоте сегодня в пушкинском Михайловском в цветении июля, когда луга ждут покоса, когда нетерпеливые травы, кажется, сами клонятся навстречу, напоминая, что они призваны не к тщетному цветению, а к человеческому служению. И как этот «текст» прекрасен: ситцевые колокольчики, лохматые малино-

вые клевера, смиренная душица, молочно перекипающий морковник, летучие цветы бабочек, нежные мятлики и военные лисохвосты. Подлинно «текст», в котором каждый цветок — слово, живущее полно и радостно только в «предложении» мира. Вот уж воистину образец счастливого смирения перед Создателем.

И без всякой метафоричности в этот час легко догадываешься, что и всё-то человечество на земле — такой же луг, где всякий человек и народ только слово в «предложении». И только в «предложении» и имеющее смысл и только в нём и являющееся речью.

Кажется, я думаю о слове все последние годы, и уже Бог знает, сколько бумаги исписал, а взглянешь с утра на сияние мира, и опять всё впервые. Так один из моих старых товарищей писал полевые цветы, не срывая их, и все они у него были чудесно хороши. Но, уходя, он оборачивался и видел, что цветок улыбается ему вслед и всё в нём другое, словно добрый художник только что не писал его — хоть снова садись, что он не раз и делал, пытаясь узнать эту тайну. А она, как я теперь следом за Клоделем понимаю, была только в том, что цветок был полон и «открыт» только в «речи» всего луга и, что бы его «портрет» был верен, надо было написать всё поле.

Вот и человек полон только со всеми и во всех, в глазах, как в зеркалах, где каждое отражение — он, и в каждом отражении — другой. И каждый человек каждую минуту — часть «предложения», часть переменчивого под порывами исторического ветра, постоянно меняющегося «текста». И в последнее время (особенно имён но в последнее) я замечаю, что, чем мы более эгоистичны, чем каждое «слово» спесивее и самоувереннее, чем дальше мы друг от друга и чем разобщеннее (а уж дальше, чем мы все сегодня друг от друга, кажется, мы не были никогда), тем Создатель настойчивее и непреложнее подталкивает нас к мысли о единстве. Словно Он для того и попустил миру (а более всего нам, грешным) попасть во все ловушки самолюбия, ожесточения, национализма и демократической неопрятности, злой радуги «цветных революций» и межэтнических «разборок», чтобы мы скорее осознали, что каждый стежок в мировой ткани держится только всею тканью, и каждый необходим на своём месте и в соседстве с другим, а не сам по себе.

Вот и слово, как будто тоже научившееся та кой суверенности, что на него заводят карточку и составляют словари, где ищут ему единственного обозначения, легко вырывается из определяющих границ, будь ты хоть Владимир Иванов-

РАЗДУМЬЯ

вич Даль, и торопится в контекст, где только и может быть самым собой. В Иркутске автор замечательного «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афанасьева-Медведева подарила мне этот, может быть, последний из нынешних изданий великий словарь (мы теряем говоры со стремительностью ветра), и я увидел там эту закономерность с удивительной ясностью. Галина Витальевна в этой необъятной (в «Словаре» двадцать томов) работе догадалась о главном — что слово само по себе не живёт. И потому, едва успев назвать каждое из них, тотчас записывает рассказ, в котором оно прозвучало. Именно рассказ, «текст», где слову хорошо и где оно живёт всеми связями, — и слово общее, как авандель (Евангелие) и аверьяновы (валерьяновы) капли, и слово самое «дикорастущее» и, может, быть, только в одной деревне и в одних устах и живущее: «Абой, девчонки! Не могу видеть, сердце изболело, Господи. Все поля запустели. Абой! Греховалито как. На иконах койки делали. Это правда было. Оне больши были, иконы-то».

При чтении этого испуганного непонятого «абой» я с улыбкой вспомнил Хорхе Луиса Борхеса, однажды сказавшего, что любое сочетание букв на каком-то языке мира есть имя Бога. Может показаться, что он иронизировал (в том числе

могло показаться и ему самому), но в существе он ведь говорил не о наборе букв, а о контексте, о «речи». А тут многое определяет не согласие букв, а живость интонации и свет слышания «текста» мира. Услышав этот «текст», легко понять и многое в русской литературе. Когда отец Василий Зеньковский дивится, как мог Тургенев, заявляя себя безбожником, так точно написать христианство Лизы Калитиной или Лукерьи из «Живых мощей», и относит это умение к неосознанной религиозности Ивана Сергеевича, то я думаю, что это не совсем так. Православная душа героинь написана верно, потому что слово помнит себя лучше, чем произносящий его художник. И если Иван Сергеевич верно слышит речь милых его сердцу героинь, то он слышит и их душу. Слово само ищет «текста» и подсказывает себя хорошему писателю, а порой и выпрямляет его сердце. А уж если душа разладится, то тут уж даже и у Александра Сергеевича Пушкина «ко звуку звук нейдёт», потому что повреждено внутреннее «предложение».

И опять кажется, что сегодня слово впервые «ощупывает» себя, чтобы быть готовым вспомнить свою настоящую глубину. И человечество тоже впервые за историю не в философах и мыслителях, не в своих святых и подвижниках, не в гениях прозрения и мастерах слова, а в каждой живой душе готовится

сказать Создателю: «Вот я, Господи!», как говорило на заре мира, когда ещё только пробуждалось из первоначальной глины и оглядывало дарованный ему мир в потрясённом удивлении, чтобы впервые понять страшную высоту и ответственность этого «я». Да даже и просто узнать наконец, что же говорит человек, говоря это любимое, привычное, так легко излетающее из нас местоимение, и с благодарностью и ужасом увидеть, что оно есть образ и подобие Божие, и что сам человек — только малое зеркало (или только осколок) Создателя мира. Или как опасно, но с верным внутренним чутьём писал тот же Борхес: «... не таятся ли черты распятого в каждом зеркале; быть может, лик стёрся и угас лишь для того, чтобы все стали Богом?»

Я тут, впрочем, как и часто уже в последних статьях, ловлю себя на слове «впервые». Может быть, это обычное заблуждение долго живущего человека, что именно на его глазах происходит качественное преобразование мира. И то пока он не раскрывает последних номеров газеты «Комсомольская правда» или «Жизнь», не слушает радио и не смотрит сериала «Школа». А откроет и посмотрит — и все обольщения побоку.

Но тоже ведь давно умом знаешь, что есть малое время (газет, «Школы», досады дня) и есть большое, где ты слышишь в себе день истории и тектонические слои времени и нет-нет чувствуешь холодок даже такого непостижимого слова, как «вечность». Вот это-то большое время, в котором и последний безбожник однажды вдруг смущённо смолкает на полуслове и, теряя нить разговора, неожиданно машет рукой и отводит глаза, и есть главное человеческое время. Там и вырывается у Мандельштама: «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». И Сталин вместо «товарищи» говорит 3 июля 1941 года «братья и сёстры», из чего Гитлер, если бы в этот час был в том же большом времени, понял бы, что уже проиграл войну. Кажется, и сама история живёт по очереди в том и другом времени — малом времени безумий и революций, ересей и перестроек и в большом времени молчания и задержанного дыхания, когда рождаются философы, уходят в пустыню старцы и ученики записывают за Отцами Церкви спасительные слова: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся» или «Бог любит не всех одинаково, а каждого больше». И в этом большом времени внезап-

РАЗДУМЬЯ

но прозревший Поль Клодель (место его духовного преображения, настигшей его Господней молнии света отмечено в соборе Парижской Богоматери специальной табличкой в полу) увидел, что «мир — это текст», а слово — только «неусмирённый отрезок, ведущий к смыслу». Увидел, чтобы увидели и мы и стали наконец тем, к чему

призваны, — образом и подобием Божиим и росли навстречу этому знанию, тянулись вверх, как благодарные михайловские травы, без страха ожидая Господней жатвы для своего теперь уже навсегда осмысленного зрячего стояния на своём месте в великом небесном «предложении», в ослепительном «тексте» мира.